



А.П. Назаретян

Цивилизационные кризисы

в контексте
Универсальной
истории

Акоп Погосович Назаретян

Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11978431

Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории:

Синергетика, психология и футурология: ПЕР СЭ; Москва; 2001

ISBN 5-9292-0031-9

Аннотация

Общество не первый раз в своей истории сталкивается с особым типом кризисов (демографических, экологических, военно-политических), которые вызваны несбалансированной деятельностью людей. Были среди них и глобальные. Чем все эти кризисы, происходившие на различных исторических стадиях, сходны между собой? Почему они периодически повторяются и какую роль играют в развитии общества и природы? Существуют ли единые механизмы обострения антропогенных кризисов, и по каким симптомам можно прогнозировать их приближение? Наконец, каковы шансы планетарной цивилизации преодолеть надвигающийся комплексный кризис, какую цену за это придется заплатить, и каковы могут быть долгосрочные последствия? Автор книги, профессор психологического

факультета МГУ и отделения политологии МГЛУ, исследует эти вопросы, привлекая данные исторической психологии, культурной и сравнительной антропологии, эволюционной биологии и космологии, а также обобщающие модели самоорганизации. Книга адресована научным работникам различных специальностей, преподавателям вузов, аспирантам и студентам. Ее материал может быть использован при разработке междисциплинарных курсов Универсальной истории (Big History) для гуманитарных, естественнонаучных и технических факультетов.

Содержание

Введение	6
Очерк I	33
1.1. Двадцатый век, суровый и милосердный	33
Конец ознакомительного фрагмента.	49

А. П. Назаретян
Цивилизационные
кризисы в контексте
Универсальной истории
(Синергетика, психология
и футурология)

© А.П. Назаретян, 2001

© ПЕР СЭ, оригинал-макет, оформление, 2001

* * *

Введение

От будущего – к прошлому

Размышление о методе

Dubito, ergo cogito... Cogito, ergo sum.
R. Cartesius

Прогресс – это восхождение ко Мне.
Ж.П. Сартр

Мне не очень нравится существовать в этом мире, но я не перестаю удивляться вселенскому чуду моего существования.
В. Гарун

Чтобы не уничтожить этот мир, мы должны настоящим руководить из будущего.
К. Бурихтер

Зоопсихологами показано, что прочность инстинктивно-го запрета на убийство себе подобных пропорциональна естественной вооруженности животных. Из этого выдающийся ученый К. Лоренц [1994] сделал вполне логичный вывод: «Можно лишь сожалеть о том, что человек... *не имеет* “натуры хищника”» (с.237). Если бы люди произошли не от таких биологически безобидных существ, как австралопите-

ки, а например, от львов, то войны занимали бы меньше места в социальной истории.

Своеобразным ответом стала серия сравнительно-антропологических исследований внутривидовой агрессии [Wilson E., 1978]. Выяснилось, что в расчете на единицу популяции львы (а также гиены и прочие сильные хищники) убивают друг друга *чаще*, чем современные люди.

Эти результаты для многих оказались сенсацией. Во-первых, лев действительно обладает гораздо более мощным инстинктивным тормозом на убийство особей своего вида, чем человек (а по мнению известного палеопсихолога Б.Ф. Поршнева [1974], на ранней стадии антропогенеза развивающийся интеллект подавил природные инстинкты, включая изначально слабый популяцио-центрический). Во-вторых, плотность проживания в природе несравнима, скажем, с городской, а концентрация и у людей, и у животных обычно повышает агрессивность. Наконец, в-третьих, несопоставимы «инструментальные» возможности: острым клыкам одного льва противостоит прочная шкура другого, тогда как для убийства человека человеком достаточно удара камнем, а в распоряжении людей гораздо более разрушительное оружие.

Сходный по смыслу результат получен австралийскими этнографами, сравнившими войны аборигенов со Второй мировой войной. Из всех стран-участниц только в СССР соотношение между количеством человеческих потерь и чис-

ленностью населения превысило обычные показатели для первобытных племен [Blainay G., 1975].

По нашим подсчетам, во всех международных и гражданских войнах XX века погибло от 110 до 140 млн. человек. Эти чудовищные числа, включающие и косвенные жертвы войн, составляют менее 1,5 % живших на планете людей (10,5 млрд. в трех поколениях). Приблизительно такое же соотношение имело место в XIX веке (около 35 млн. жертв на 3 млрд. населения) и, по-видимому, в XVIII веке, но в XVI–XVII веках процент жертв был выше.

Трудности исследования связаны с противоречивостью данных и с отсутствием согласованных методик расчета (ср. [Wright Q., 1942], [Урланис Б.Ц., 1994]). Но и самые осторожные оценки обнаруживают парадоксальное обстоятельство. *С прогрессирующим ростом убойной силы оружия и плотности населения процент военных жертв на протяжении тысячелетий не возрастал.* Судя по всему, он даже медленно и неустойчиво сокращался, колеблясь между 5 % и 1 % за столетие.

Более выражена данная тенденция при сравнении жертв бытового насилия. Ретроспективно рассчитывать их еще труднее, чем количество погибших в войнах, но, поскольку здесь нас интересует только порядок величин, то достаточно использовать косвенные свидетельства.

В XX веке войны унесли больше жизней, чем бытовые преступления, а также «мирные» политические репрессии

(так что в общей сложности от всех форм социального насилия погибли до 3 % жителей Земли)¹. Но в прошлом удельный вес бытовых жертв по сравнению с военными был иным. Особенно отчетливо это видно при сопоставлении далеких друг от друга культурно-исторических эпох.

Так, очень авторитетный американский этнограф Дж. Даймонд, обобщив свои многолетние наблюдения и критически осмыслив данные коллег, резюмировал: «В обществах с племенным укладом... большинство людей умирают не своей смертью, а в результате преднамеренных убийств» [Diamond J., 1999, p.277].

При этом следует иметь в виду и повсеместно распространенный инфантицид, и обычное стремление убивать незнакомцев, и войны между племенами, и внутрплеменные конфликты. В качестве иллюстрации автор приводит выдержки из протоколов бесед, которые проводила его сотрудница с туземками Новой Гвинеи. В ответ на просьбу рассказать о своем муже ни одна из женщин (!) не назвала единственного мужчину. Каждая повествовала, кто и как убил ее первого мужа, потом второго, третьего...

Парадоксальное сочетание исторически возраставшего

¹ Р. Руммель [Rummel R.J., 1990, p.XI] утверждает, что «с 1900 года вне войн и других вооруженных конфликтов правительствами было убито... 1194000000 человек, из коих 95200000 – марксистскими правительствами». В такой формулировке приведенные числа представляются завышенными и даже политически тенденциозными. Часто «превентивные» массовые репрессии осуществлялись *во время* войн, но в глубоком тылу. Они включены в наш расчет военных жертв.

потенциала взаимного истребления со снижением реального процента насильственной смертности уже само по себе заставляет предположить наличие какого-то культурно-психологического фактора, компенсирующего рост инструментальных возможностей. Выявить этот фактор, который до сих пор обеспечивал сохранение цивилизации на нашей планете, и его динамику, опосредованную антропогенными кризисами, – одна из задач настоящей книги.

Но я предварил Размышление данным примером, чтобы проиллюстрировать методологический прием характерный для новейшей (постнеклассической) науки [Степин В.С., 1992]. Гротескно изложу его суть, обратившись к старинной философской проблеме, которая долгое время принималась людьми практически за досужую игру.

Многие мыслители с разочарованием признавали, что сомнение даже в самых интуитивно очевидных фактах, вплоть до существования окружающего мира, не может быть устранено при помощи исчерпывающих доводов. Невозможность опровергнуть стойкого солипсиста, утверждающего, что весь мир есть не более чем совокупность его (или моих?) субъективных ощущений, называли позором для философии и человеческого ума. Прибегали к «осязаемым аргументам» (ударам палкой), которые, конечно, по существу ничего не решали.

Для мышления, жаждущего безупречности, это был концептуальный тупик. Ведь если даже существование внешне-

го мира приходится принимать как условное «допущение», то и все прочие суждения о нем строятся на песке...

Между тем решение умозрительной головоломки было найдено даже раньше, чем сама она сделалась модной темой философских изысканий. Ехидный солипсист неуязвим до тех пор, пока не осмелится на завершающий шаг, усомнившись также и в своем собственном существовании. Сделать такой шаг он просто обязан, чтобы быть последовательным. Но тогда он сразу попадает в хитрую ловушку, петлю Р. Декарта: сомневаюсь, значит, мыслю, а мыслю – значит, существую!

Таким образом и обнаружилось первое странное обстоятельство: «Я существую!» – самое эмпирически достоверное из всех мыслимых суждений о мире. Значительно позже обнаружилось другое обстоятельство. А именно, что это суждение отражает факт крайне маловероятный («вселенское чудо»).

Дискуссии по поводу антропного космологического принципа в 60 – 80-х годах XX века показали, сколь удивительное сочетание фундаментальных констант физической Вселенной необходимо для появления белковой молекулы. Исследования по эволюционной геологии и биологии продемонстрировали, насколько специфические свойства земной биосферы требовались для того, чтобы могли сформироваться высшие позвоночные и чтобы в итоге образовалась экологическая ниша для особого семейства животных, способных

выжить только за счет искусственного опосредования отношений с остальной природой. Наконец, мы далее убедимся, какие «противоестественные» качества должна была выработать «вторая природа», чтобы ее создатель, совершенствуя орудия от каменного рубила до ядерной боеголовки, не истребил сам себя.

Но то, что каждый из наших современников называет коротким словом «Я», – продукт конкретной стадии в развитии космоса, жизни, а также культуры, успевшей овладеть беспримерными средствами истребления и уравновесить их достаточно эффективными (пока) механизмами самоконтроля. Безусловная реальность чрезвычайно маловероятного факта моего бытия превращает его в критический тест на правдоподобие естественнонаучных и обществоведческих концепций, многие из которых, будучи внутренне стройными, дисквалифицируются просто потому, что данному факту противоречат.

Конечно, это оставляет смысловое пространство для почти бесконечного разнообразия конкурирующих (возможно, взаимодополнительных) объяснений и интерпретаций, но дает сильный аргумент для оценки, сопоставления и отбора. Например, коль скоро человечество сумело дожить до моего рождения, значит, следует принимать *cum grano salis* расхожее представление о человеке как безудержном агрессоре или о том, что посленеолитические культуры «нарушили законы Природы» (подобными утверждениями полны не

только академические статьи и монографии, но уже и учебники экологии). А представив себе хоть отдаленно, как сложно организован мой мозг, я не могу довольствоваться тезисом, будто рост энтропии исчерпывает вектор физической необратимости.

Науке потребовались три столетия вдохновенных успехов и горьких разочарований, чтобы обнаружить существование человека – наблюдателя, мыслителя и исследователя. Классическое естествознание строилось на оппозиции антропоморфизму средневековых схоластов, объяснявших все физические движения по аналогии с целенаправленными действиями людей. Естественнонаучное мировоззрение перевернуло логику интерпретации: его лейтмотивом стало освобождение от субъекта и цели, а сверхстратегией – редукционизм, т. е. представление эволюционно высших процессов по аналогии с эволюционно низшими.

Редукционистская парадигма сыграла решающую роль в становлении науки Нового времени. Ею был заложен фундамент всех современных дисциплин, освоивших методы анализа, эксперимента, экстраполяции и квантификации. Вместе с тем интерпретационный потенциал бессубъектных моделей оказался исчерпаем, и это явственно ощутили не только психологи, искусствоведы, социологи, биологи, но и прежде всего физики.

В первой половине XX века произошло шокировавшее современников «стирание граней между объектом и субъек-

том» [Борн М., 1963]. Естествоиспытателям пришлось признать зависимость знания от его носителя, от рабочих гипотез и применяемых процедур. А главное – тот факт, что сам процесс наблюдения (исследования) есть событие, включенное в систему мировых взаимодействий, и пренебречь этим обстоятельством тем труднее, чем выше требование к строгости результатов. Вопрос А. Эйнштейна, изменяется ли состояние Вселенной оттого, что на нее смотрит мышь, ознаменовал новую, неклассическую парадигму научного мышления.

Эта парадигма охватила естественные, гуманитарные науки и, что еще более важно, формальную логику и математику. Теорема К. Геделя о неполноте развенчала позитивистскую иллюзию о возможности чисто аналитического знания. Стали формироваться интуиционистские, конструктивистские и ценностные подходы к построению математических моделей, основанные на убеждении, что «понятие доказательства во всей его полноте принадлежит математике не более, чем психологии» [Успенский В.А., 1982, с. 9]. Все это превратило субъекта знания из статиста, остающегося за кадром научной картины мира, в ее главного героя.

В последующем классические идеалы науки подверглись еще более трудному испытанию. Идея субъектности охватила не только гносеологию, но и онтологию естествознания, обозначив контуры еще одной, постнеклассической парадигмы. С распространением системно-кибернетической

и системно-экологической метафор вопросы «почему?» и «как?» стали органично сочетаться и даже упираться в вопрос «для чего?»

Молекулярный биолог обнаруживает, что ферментный синтез регулируется потребностями клетки в каждый данный момент. Геофизик, используя целевые функции для описания ландшафтных процессов, ссылается на соображения удобства и называет это принципом эврителизма, т. е. сугубо эвристическим приемом, безотносительно к «философскому» вопросу, обладает ли в действительности ландшафт собственными целями. Физик-теоретик, спрашивая, для чего природе потребовалось несколько видов нейтрино или зачем ей нужны лямбда-гипероны, понимает, что речь идет о системных зависимостях. Представления, связанные с самоорганизацией, конкуренцией и отбором (организационных форм, состояний движения и т. д.), проникнув в неорганическое естествознание, продемонстрировали глубокую эволюционную преемственность между живым и косным веществом. А синтезированная Аристотелем и расщепленная Г. Галилеем и Ф. Бэконом категория целевой причинности вновь обрела права гражданства.

Постнеклассическая наука обогатила познавательный арсенал методом *элевационизма* (от лат. *elevatio* – возведение), когда продуктивные образы распространяются не «снизу вверх», как требует редукционистская стратегия, а наоборот, от эволюционно позднейших к более ранним формам взаи-

модействия. Это помогает обнаруживать в прежних формах те присущие им свойства, которые служат онтологической предпосылкой будущего и, в частности, эволюционные истоки субъектных качеств, явственно выраженных в поведении высокоорганизованных систем².

Здесь, однако, необходимо выделить нюанс, недооценка которого может привести к недоразумениям. Элевационизм остается в рамках научной методологии до тех пор, пока исследователь не поддается соблазну телеологических интерпретаций и не навязывает настоящее в качестве эталона для прошлого. Элевационистская парадигма несовместима с допущением, будто прошлое существует *ради* будущего, а мир был создан и развивался *для того*, чтобы в нем когда-то появились автор и воображаемый читатель этих строк.

Напротив, я буду строго следовать гипотезе апостериорности: каждое существенно новое состояние есть ответ системы на складывающиеся обстоятельства, причем только один из возможных ответов. Задача состоит в том, чтобы выяснить, складываются ли такие «ответы» в последовательные векторы мировой эволюции, и если да, то почему это происходит, не обращаясь к постулату об изначально заложенных целях или а priori записанных смыслах (см., напр., [Назимов В.В., 1995]), которые только раскрываются по мере созревания разума. Прямые параллели между генетической

² Подробнее о содержании, истории и предыстории элевационизма см. [Назаретян А.П., 1991, 1992].

программой роста организма и филогенезом живого вещества или, тем более, развитием Вселенной выхолащивают самые острые теоретические проблемы, лишают прошлое самодовлеющей ценности и ведут, с одной стороны, к историческим аберрациям, а с другой – к волюнтаризму в практической политике.

Вместе с тем опора на тезис «Я существую» предполагает решительное перераспределение акцентов. В классической науке факт человеческого существования служил источником когнитивного дискомфорта и даже выглядел, по ироническому замечанию И. Пригожина [1985, с.24], «своего рода иллюзией». Диаметрально противоположный взгляд выражает формула выдающегося английского астрофизика Б. Картера (цит. по [Розенталь И.Л., 1985]): *Cogito, ergo mundus talis est* (Я мыслю, значит, мир таков, каков он есть). Иначе говоря, «любая физическая теория, противоречащая существованию человека, очевидно, неверна» [Девис П., 1985, с.154], и эта простая мысль стала аксиомой для многих современных естествоиспытателей.

В социальном исследовании антропный принцип оборачивается *принципом эгоцентризма*. Человеческий мир обладает такими качествами, которые позволили ему дожить до моего рождения, и серьезного обсуждения заслуживают только такие концепции, которые этому факту не противоречат. Чем лучше мы поймем, почему цивилизация смогла до сих пор сохраниться, тем больше шансов преодолеть кри-

зисные ситуации в будущем.

Таким образом, философская банальность, состоящая в том, что прошлое содержит в себе возможность настоящего, превращается в оригинальный методологический ориентир: полноценное описание физических, биологических или социально-исторических состояний должно содержать указание на те их свойства, которые сделали возможными последующие события и состояния. Этому созвучен еще один типично пост-неклассический мотив (см. эпиграф) – необходимость управлять настоящим из будущего.

Эволюционно-исторический разворот научного мировоззрения обусловил сдвиг интереса с проблемы бытия к проблеме становления и, далее, к проблеме сохранения.

С одной стороны, равновесные состояния и линейные процессы оказываются только переходными моментами неравновесного и нелинейного мира, в котором постоянно образуются новые структуры. С другой стороны, почти все новообразования в духовной жизни, в технологиях, в социальной организации, а ранее в биотических и физико-химических процессах представляют собой «химеры» – в том смысле, что они противоречат структуре и потребностям метасистемы, – и чаще всего выбраковываются, не сыграв заметной роли в дальнейших событиях. Но очень немногие из таких химерических образований сохраняются на периферии большой системы (соответственно, культурного пространства, биосферы или космофизической Вселенной) и

при изменившихся обстоятельствах могут приобрести доминирующую роль. Поэтому важнее выяснить не то, как и когда в истории возникло каждое новое явление, а то, когда и почему оно было эволюционно востребовано после длительного латентного присутствия в системе.

Рассматривая развитие как функцию сохранения и сосредоточив основное внимание на периодически обостряющихся кризисах, мы выделяем важный ракурс в причинно-следственной динамике не только прошлого, но также настоящего и будущего.

Именно будущее – основной предмет этой книги, хотя ее большая часть посвящена далекому прошлому. Прогноз всегда так или иначе строится на экстраполяции, а главный вопрос состоит в том, какие из выявленных тенденций, как и в какой мере уместно экстраполировать.

Это, в свою очередь, зависит от двух методологических предпосылок: ретроспективной дистанции и дисциплинарного наполнения модели. Соответственно, когда выбранная методология несоразмерна сложности исследуемой системы и (или) прогностической задачи, футурологам грозят две характерные ошибки.

В первом случае перспектива глобальной системы выводится из отдельных тенденций, отслеженных на коротком временном отрезке. Абсолютизируя ту или иную тенденцию, аналитики середины XIX века предрекали, например, тотальный продовольственный дефицит, всеобщую пролета-

ризацию западного общества, затопление городов лошадиным навозом и прочее. Во втором случае прогноз строится на монодисциплинарном расчете, перспектива оценивается исключительно с позиций термодинамики, энергетики, геологии, генетики, демографии или какой-либо иной отрасли знания, а все прочие («субъективные») факторы игнорируются.

Ошибки замечают и запоминают легче, чем адекватные прогнозы. Это свойственно психике вообще и обыденному сознанию в частности, причем, если ошибочный прогноз не имел трагических последствий, он обычно воспринимается как смехотворный (вспомним наше отношение к синоптикам). Отобрав же и сгруппировав некоторое количество неудавшихся предположений, можно убедить наивного читателя в том, что будущее недоступно научному анализу [Нахман Дж., 2000]. С помощью аналогичного приема мистики и креационисты доказывают несостоятельность науки как таковой.

Действительно, всякое обобщающее суждение *прогностично* и *вероятностно*, и в этом отношении различие между суждениями о прошлом, настоящем и будущем не столь радикально, как принято полагать. Утверждая, что Наполеон умер 5 мая 1821 года, историк тем самым высказывает обязывающий прогноз: никогда *не будут* найдены документы, свидетельствующие о жизни Наполеона после указанной даты, а представленные свидетельства такого рода следует счи-

тать фальшивкой. Физик, утверждающий, что при таких-то условиях всегда *будет* получен такой-то результат, полагает, что учел и оговорил состояния всех переменных; в последующем обнаруживаются новые переменные, ошибочно принятые за константы, и это заставляет пересматривать, иногда существенно, прежние заключения.

Признав вероятностный характер всякого знания, мы должны согласиться и с тем, что предсказание прошлого – такая же трудная задача, как и предсказание будущего. Различие же между этими научными задачами не столько в принципе, сколько в инструментариях.

К намеченным вопросам я буду систематически возвращаться в книге. Здесь же добавлю, что прогнозирование составляет условие существования всех живых организмов, и оно всегда сопряжено с возможными ошибками [Бернштейн Н.А., 1961], [Анохин П.К., 1962], [Вероятностное..., 1977]. Память – не пассивное фиксирование следов воздействий, а сложная операция по переносу переживаемого опыта в будущее. У человека эта операция, как и весь психический процесс, отличается коммуникативно-семантическим опосредованием; научное мышление отличается от обыденного использованием заранее осмысленных процедур; наконец, выделение будущего в качестве особого предмета – промежуточный итог дифференциации и интеграции научного знания, вызванный практическими потребностями эпохи. Речь должна идти не о том, возможно ли исследовать будущее, но

о том, какие методы и в какой мере адекватны этой задаче.

Проблемы, связанные с отбором тенденций, подлежащих мысленному перенесению в будущее, обостряются с приближением к кризисной (полифуркационной) фазе, когда устойчивость системы снижается и, тем самым, множатся альтернативные варианты. Поэтому исследователи глобальных проблем часто отмечали, что модель будущего заведомо нереалистична, если в ней не учитываются универсальные векторы, закономерности и механизмы.

По меньшей мере, к В.И. Вернадскому и П. Тейяру де Шардену восходит традиция исследования социальной истории в междисциплинарном ключе и в органическом единстве с «дочеловеческой» историей планеты. В 20-30-х годах ученые, как правило, ограничивались планетарным масштабом, поскольку в большинстве своем все еще считали вселенную в целом бесконечной и стационарной, а следовательно, лишенной истории. И сегодня некоторые глобалисты выносят за скобки космическую предысторию, полагая ее, по всей видимости, несущественной для понимания процессов, происходящих на Земле [Зубаков В.А., 1999], [Snooks G.D., 1996].

Но в свете эволюционной космологии, построенной на фридмановских моделях Метагалактики и их новейших модификациях, обнаружилось, что развитие биосферы, в свою очередь, воплощает ряд тенденций, явственно обозначившихся задолго до образования Земли и Солнечной систе-

мы. Множатся работы, ориентированные на создание «единой теории прошлого», от Большого Взрыва до современности ([Jantsch E., 1980], [Аршинов В.И., 1987], [Ласло Э., 1995, 2000], [Моисеев Н.Н., 1991], [Назаретян А.П., 1991], [Christian D., 1991], [Spier F., 1997] [Универсальная..., 2001] и др.). В последних зарубежных публикациях это направление исследований получило название Большой истории (Big History), а в России утвердился термин «универсальный эволюционизм».

Предмет *Универсальной (Большой) истории* определенным образом соотносится с предметами Глобальной и Всемирной истории. Всемирная история изучает прошлое человечества от палеолита до наших дней. Глобальная история изучает прошлое Земли и биосферы, включая становление человечества как геологического фактора. Предмет Универсальной истории – развитие Вселенной с последовательным образованием качественно новых реальностей, так что развитие живой природы и общества оказываются фазами единого поступательного процесса. Как видим, этот предмет концептуально конструируется только в рамках эволюционного мировоззрения, хотя трактовки его могут быть различными.

По имеющимся у нас (вероятно, неполным) данным, опыт преподавания курсов Универсальной истории наработан в ряде университетов Австралии, США и Голландии, а также в Казанском [Непримеров Н.Н., 1992] и Сыктывкарском [Фе-

дорович И.В., 2000] университетах. Сам я давно работаю в данной традиции и далее подробно обосную свое убеждение в том, что на пороге XXI века только универсальный контекст адекватен задаче прогнозирования даже в масштабе нескольких десятилетий. Но, несмотря на солидный стаж преподавания в различных вузах Москвы, мне доводилось читать студентам только отдельные фрагменты и ни разу – курс целиком.

Завершая методологическое введение, коротко расскажу об инструментарии, использование которого помогает скомпоновать пестрые штрихи из различных дисциплинарных областей в единую картину универсальной эволюции.

Эта картина зиждется на продуктивном концептуальном конфликте между вторым началом термодинамики и эмпирическими данными, бесспорно свидетельствующими о поступательных изменениях от простого к сложному на протяжении многих миллиардов лет.

Второе начало термодинамики, или закон возрастания энтропии, – единственное известное классической науке асимметрическое свойство физических процессов, обеспечивающее их необратимость во времени. Все попытки дисквалифицировать этот закон или ограничить его применимость (например, за счет биотических или социальных процессов) оказались несостоятельными: при правильном выделении системы сопряженного взаимодействия снижение энтропии в одной подсистеме обязательно оплачивается ро-

стом энтропии в другой подсистеме³. Тем самым неизменно подтверждается шуточное сравнение термодинамики со старой властной теткой, которую все недолюбливают, но которая всегда оказывается права.

Поскольку же *фактических* противоречий между выводами термодинамики и наблюдаемыми процессами обнаружить не удается, парадокс эволюции приобретает более глубокий, *парадигмальный* характер. С классической точки зрения, уровень организации во Вселенной должен последовательно снижаться, а не расти, как это в действительности происходит в истории общества, биосферы и Метагалактики (см. подробнее [Назаретян А.П., 1991]). Из основного естественнонаучного парадокса вытекает множество более частных, которые касаются конкретных стадий универсальной эволюции. В их числе и упомянутый выше факт ограничения социального насилия с ростом инструментального потенциала.

Поэтому усилия ученых различных специальностей направлены на то, чтобы выявить механизмы самоорганизации в духовных, социальных, биотических и физических процессах. С тех пор, как З. Фрейд «прорубил окно в бессознательное», психологи учились фиксировать превращение хаотических импульсов в культурно адекватное мышление

³ Возможно, что законы термодинамики перестают соблюдаться в физике черных дыр, но и это допущение, принятое рядом ученых, не снимает вопрос о причинах поступательной эволюции с образованием *качественно новых* форм организации.

и поведение человека. Исследователи творческой активности постоянно обнаруживают, как стройные научные теории, изящные математические построения, художественные и поэтические формы выкристаллизовываются из беспросветного тумана мистических идей и подавленных желаний («Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» [Ахматова А.А., 1990, с. 196]). Обществоведы изучают превращение бесструктурных социальных конгломератов в организовано действующие группы и развитие от враждующих между собой первобытных стад до современных надгосударственных учреждений. Биологи – филогенез и онтогенез многоклеточных организмов и усложнение биоценозов. Космологи – формирование звездных систем из однородного вещества, а также ядер, атомов и сложных молекул из кварко-глюонной плазмы.

Столь разнородный фактический материал требовал обобщения. Единая наука о самоорганизации в Германии была названа синергетикой (Г. Хакен), во франкоязычных странах – теорией диссипативных структур (И. Пригожин), в США – теорией динамического хаоса (М. Фейгенбаум). В отечественной литературе принят преимущественно первый термин, наиболее краткий и емкий, а также «нелинейная динамика» (С.П. Курдюмов).

Синергетика – одна из междисциплинарных моделей, которую пронизывает парадигма элевации: эволюционно ранние процессы рассматриваются с учетом эволюционно позд-

них, прошлое через призму будущего. Это дало повод некоторым авторам противопоставить ее кибернетической теории систем, изучающей в основном механизмы стабилизации и отрицательные обратные связи. Но такой способ спецификации предмета синергетики стал вызывать сомнения постольку, поскольку обнаружилась взаимодополнительность категорий самоорганизации и управления, неравновесия и устойчивости и т. д. Эволюционный процесс может быть преемственным и последовательным, благодаря способности неравновесных образований – продуктов самоорганизации – к активному сохранению посредством внешнего и внутреннего управления, конкуренции за свободную энергию необходимую для антиэнтропийной работы и отбору в соответствии с потребностями экологической ниши.

В свою очередь, управление, конкуренция и отбор неотделимы от таких категорий, как субъект, цель, информация, ценность, оптимальность и т. д. Согласно с тенденциями постнеклассической методологии, все категории подобного рода вовлекаются в интегральную системно-синергетическую модель, и в современной версии синергетика как наука о самоорганизации превращается в *науку об устойчивом неравновесии*.

Это полностью соответствует тезису о развитии как функции сохранения, который обозначен выше и будет подробнее раскрыт в последующем. Системно-синергетическая модель способствует совокупному решению трех концептуаль-

ных задач. Во-первых, свободному от телеологии пониманию векторности эволюции. Во-вторых, единой трактовке эволюционных новообразований (жизнь, общество, культура и т. д.) с богатым потенциалом теоретических обобщений – выявления малоизвестных механизмов и закономерностей. В-третьих, «субъюнктивизации» эволюционного мировоззрения, т. е. превращению футурологии и истории в сквозную сослагательную науку, обеспеченную соответствующим аппаратом.

Для решения последней из перечисленных задач – разработки сценарного подхода к анализу неравновесных систем – выделилось особое направление, которое Л.В. Лесков [1998 – а, б] предложил назвать *футуросинергетикой*. Как видно из семантики термина⁴, футуросинергетика нацелена прежде всего на исследование будущего. Но, поскольку множество альтернативных вариантов образуется в каждой критической (полифуркационной) фазе социального или природного развития, то методы футуросинергетики применяются также для построения «ретропрогнозов», т. е. изучения исторически не реализовавшихся сценариев.

Таким образом, тип мышления характерный для грамотного футуролога («что будет, если?..») становится доступным историку («что было бы, если бы?..»). Синергетическое

⁴ Со строго лингвистической точки зрения, термин не вполне корректен, так как складывается из латинского и греческого корней. Но с тех пор, как европейская наука усвоила изобретенный О. Контом термин «социология», она (наука) утратила изысканную чувствительность к подобного рода варваризмам.

моделирование позволило строго доказать, что даже в точках неустойчивости может происходить не «все что угодно»: количество реальных сценариев, называемых иначе параметрами порядка, всегда ограничено, и коль скоро события вошли в один из режимов, система необратимо изменяется в направлении соответствующего конечного состояния. Это квазицелое состояние (аттрактор) подчиняет себе все последующие события, и как бы мы ни желали вернуться в исходную фазу или перейти к другому, более благоприятному аттрактору, осуществить это уже не удастся.

То, что множество сценариев в каждой критической точке ограничено, – открытие синергетики. Оно позволяет осмысливать прошлое в сослагательном наклонении, а в перспективе «просчитывать» на компьютерных программах пространство исторически возможных (виртуальных) миров на всем протяжении социальной, биологической и космофизической эволюции [Малинецкий Г.Г., 1997], [Назаретян А.П., 1997], [Лесков Л.В., 1998-а].

На первый взгляд, это может показаться не более чем занятным развлечением. На самом же деле сценарный анализ переломных эпох открывает большие и еще не полностью оцененные возможности как для исторической теории (без сослагательного наклонения нельзя корректно поставить вопрос о причинности), так и для практики. В частности, ясное представление о вероятностных контекстах каждого реализовавшегося сценария помогает обобщить исторический

опыт кризисов, исследовать факторы их углубления и разрешения и использовать полученные выводы для прогнозирования очередных кризисов, выработки реалистических стратегий и диагностики утопий.

Различие между реалистическими и утопическими проектами не в том, что первые возможно воплотить в жизнь, а вторые нет. Утопии тем и опасны, что они осуществимы; самые близкие нам примеры – «построенный в боях социализм» и затем ожидание рыночного рая на его обломках. Характерной чертой утопического мышления служит гипертрофирование позитивных и игнорирование негативных последствий того или иного выбора.

Синергетика дисциплинирует научную мысль, приучая историка не искать идиллий в прошлом, а футуролога – идеальных решений в будущем. Уяснив, что любой успех непременно оплачивается потерями, аналитик осваивает конструктивистские категории «меньшего из зол», паллиатива и оптимальности.

* * *

Очертив таким образом круг идей, на которых выдержано настоящее исследование, добавлю, что структура изложения соответствует элевационной логике. Книга начинается обзором дискуссий о состоянии и перспективах планетарной цивилизации, о путях и проектах преодоления грядущих кри-

зисов. Обсуждение прогнозов и проектов, подчас взаимоисключающих, поможет определить задачи ретроспективного анализа таким образом, чтобы его результаты послужили основой для оценки и отбора правдоподобных сценариев.

Для этого необходимо выяснить, по каким векторам до сих пор развивались события социальной, биологической и космо-физической истории, почему они сопровождались периодическим обострением кризисов, какими средствами кризисы преодолевались и, наконец, насколько исторический опыт способствует ориентировке в нынешних проблемах.

При подготовке рукописи мне оказали большую помощь друзья и коллеги, работающие в различных дисциплинарных областях: математике, физике, геологии, географии и астрономии (А.Д. Арманд, Л.М. Гиндилис, В.С. Голубев, Ю.А. Данилов, В.В. Клименко, В.Н. Компаниченко, Е.П. Левитан, Л.В. Лесков, А.М. Тарко); биологии и генетике (С.А. Боринская, В.И. Жегалло, А.Е. Седов); антропологии и истории (А.М. Буровский, И.Н. Ионов, А.А. Казанков, А.В. Коротаев, Э.С. Кульпин, Э.В. Сайко, С.И. Семенов, В.В. Согрин, П.А. Федосов, G. Chick, F. Spier, D. Christian); психологии (В.Ф. Петренко, А.У. Хараш); философии и культурологии (В.М. Акопян, В.З. Арушанов, В.И. Аршинов, К.Х. Делокаров, К.А. Зуев, В.М. Мапельман, Н.И. Полякова, Н.А. Хренов). Разумеется, все эти ученые не несут никакой ответственности за содержание книги, но их оценки, замечания и

советы помогли выстроить аргументацию и избежать неточностей.

Очерк I

В зеркале двух веков

Предварительные оценки и сценарии

1.1. Двадцатый век, суровый и милосердный

Никогда прежде в истории не было, чтобы жизнь или смерть такого огромного количества людей зависела от такой малой кучки правителей.
П.А. Сорокин (1959 год)

Третьей мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от мира камня на камне не останется.
Народный юмор (конец 60-х годов)

Оглядываясь на отгремевшее столетие, рискну дать ему определение, которое может показаться неожиданным: это был первый в истории *век осуществленного гуманизма*. Большая часть его грандиозных достижений и издержек суть проявления достоинств гуманистической идеи, продолживших-

ся, по логике вещей, ее недостатками.

Прежде чем аргументировать приведенный тезис, попробую операционализовать понятие гуманизма, трактуемое подчас весьма расплывчато, а также разобраться, почему он (тезис) звучит столь непривычно.

Концепция гуманизма, имеющая глубокие корни в различных культурах мира (см. [Фромм Э., 1990], [Васильев Л.С., 1994], [Сагадеев А.В., 1994], [Семенов С.И., 1995], [Puledda S., 1997]), оформившаяся в Италии XIV–XV веков, прошедшая ударной волной по Европе в XVI веке и развитая прогрессистами и просветителями XVII–XVIII веков, содержит три фундаментальные установки. Во-первых, человек физически и духовно совершенен, занимает привилегированное положение в природе и призван стать ее «хозяином и властителем» (Р. Декарт). Во-вторых, каждый человек есть «модель мира» (Леонардо да Винчи), и потому принадлежность к роду наделяет индивида всей полнотой способностей и прав независимо от этнических, конфессиональных, классовых и прочих различий. В-третьих, человеческий разум способен преобразить созданный Богом мир, сделать его «значительно более прекрасным», перестроив «с гораздо большим вкусом» (Дж. Манетти).

Если первые две установки перекликаются с некоторыми идеями прежних мыслителей и религиозных мессий (отличаясь большей четкостью и безусловностью акцентов), то третья, ориентирующая на сознательное улучшение боже-

ственного мира, – абсолютно оригинальна. Эта гуманистическая «ересь» составила ядро нового миропонимания и концептуальную предпосылку Нового времени. Она сделала социально поощряемой инновационную мотивацию, всячески подавлявшуюся традиционными культурами, раскрепостила творческий потенциал и стимулировала конструктивную активность⁵. Последняя, в свою очередь, вырвала Европу из тисков сельскохозяйственного кризиса позднего Средневековья, сделав ее мировым лидером в области не только технологических, но и гуманитарных идей.

То, что тезис о практическом воплощении гуманизма заметно расходится с привычным представлением о XX веке, обусловлено, на мой взгляд, свойствами обыденного восприятия и памяти, обаянию которых нередко поддаются также профессиональные ученые и философы. В частности, психологами описан феномен ретроспективной аберрации: растущие ожидания, искажая оценку динамики социальных процессов, рождают неудовлетворенность настоящим и иллюзорные воспоминания о прошлом золотом веке.

Сто лет назад почти все, кому было знакомо понятие «человечество», подразумевали под этим едва ли не исключительно носителей европейской культуры, и даже для демо-

⁵ В более развитой и завершенной версии гуманизм, отбросив богословскую оболочку, превратился в последовательно светское мировоззрение. Человек не создан по чужому образу и подобию, не произведен и не подсуден высшему субъекту: он сам, его дух, мышление, воображение и воля – высшие реальности развивающегося мира.

графов, изучавших население Франции, России или США, словосочетания «население мира», «население Земли» звучали еще непривычно [Сови А., 1977]. В данном смысле можно сказать, что человечество вступило в XX век с надеждой на безоблачный технический прогресс, растущее благополучие и взаимопонимание между народами. На таком фоне две мировые и несколько гражданских войн, концлагеря, забытый было ужас массовых геноцидов (Энвер-паша, Гитлер) и Хиросима произвели шок и вызвали представление о необычайной жестокости эпохи.

Действительно, по нашим расчетам, в XX веке на Европу пришлось не менее 50 % военных жертв всего мира (причем почти все в первой половине века), тогда как в XIX веке – до 15 %. Например, во всех колониальных войнах XIX века погибли 106 тысяч европейцев и миллионы туземцев [Урланис Б. Ц., 1994]. Пока солдаты сражались в экзотических краях, жителям метрополий казалось, будто войны с их жестокостью ушли в прошлое. Но с исчерпанием резервов экстенсивного роста эпицентр силовых конфликтов переместился в Европу, а испытанное европейцами потрясение задало эмоциональный тон общепринятым оценкам «кровавого века». Хотя, как было показано во вступительном очерке, процент жертв насилия от общей численности населения планеты на протяжении XX века был не выше, а, вероятно, ниже, чем в предыдущих веках. Но ни один из них не начинался столь массовыми оптимистическими ожиданиями...

После мировых войн ожидания изменились кардинально: доминантой массового сознания сделался страх перед тотальным ядерным конфликтом. В 50-60-е годы такой конфликт представлялся почти неизбежным, причем считалось, что большая часть человечества погибнет в первые же дни или недели, а оставшиеся вымрут в пораженной радиацией атмосфере. «Всеобщая гибель в огне угрожает теперь каждому из нас, и огонь этот может вспыхнуть в любой момент» – писал в 1963 году один из крупнейших социологов века [Сорокин П.А., 1991]. Это мироощущение захватило ученых, художников и обывателей. Во всю мощь ломающихся подростковых голосов зазвучали лозунги: «Любовь – сейчас!», «Свободу – сейчас!» (love now, freedom now), ибо «потом» уже не будет.

К 70-м годам страх потерял прежнюю остроту. Сказались психическая адаптация, а также то, что ряд острейших кризисов (Карибский, Ближневосточный) удалось разрешить политическими средствами. В новой социально-психологической обстановке ученые привели доказательства того, что атмосфера способна отторгать радиацию и, следовательно, в атомной войне погибнет не все человечество, а «только» несколько сот миллионов. Правда, в начале 80-х годов независимые группы исследователей в СССР и в США продемонстрировали на компьютерных моделях другой сценарий ядерного Апокалипсиса: поднятые чудовищными взрывами и пожарами тучи пыли и пепла на несколько

месяцев перекроют доступ солнечных лучей, сделав невозможным сохранение сложных форм жизни на Земле [Моисеев Н.Н. и др., 1985]. Но к тому времени многие люди уже поверили в способность политических лидеров избежать катастрофического поворота событий.

В результате принято считать, что в XX веке произошли только две мировые войны. Понятие «холодная война» воспринимается как журналистская гипербола, хотя число человеческих жертв в ее процессе соизмеримо с предыдущими «горячими» войнами. Но эти жертвы растянулись на четыре с половиной десятилетия и географически рассредоточились. А главное, они оказались несравнимы с ожидавшимися сотнями миллионов и миллиардами.

И здесь уже по-новому проявилось свойство селективности массового сознания. Память цепко зафиксировала эмоциональный шок первой половины века и страхи второй его половины, а тот факт, что самые страшные опасения не подтвердились, оставила за скобками.

Между тем последний факт имеет решающее значение для оценки итогов столетия. Из прежней истории известны примеры более или менее сознательного неприменения средств, которые могли бы быть полезны в бою. Китайцы столетиями использовали компас, порох, нефть и прочие перспективные в военном отношении находки для игрушек, фейерверков, лекарств и бытовых удобств. Японские самураи в XVII веке отказались от огнестрельного оружия, со-

чтя его недостойным истинного бойца. Еще раньше один из французских королей велел отрубить голову изобретателю автоматического «стреломета», сочтя, что такое оружие превратит войну в скучное занятие. Поступи он иначе – и, возможно, в Европе также не получило бы распространение огнестрельное оружие, на первых порах чрезвычайно громоздкое, малоэффективное и презираемое опытными воинами [Дьяконов И.М., 1994]. Судя по всему, пренебрежительное и часто дисквалифицирующее отношение к военно-техническим инновациям характерно для прежних эпох. Этнографами описаны также случаи, когда палеолитические племена, изолировавшись, забывали оружие, использовавшееся их предками (лук со стрелами и т. д.) [Diamond J, 1999].

Но все примеры подобного рода – лишь отдаленные аналоги тех фактов, которые имели место в XX веке. Речь идет об отказе от применения наиболее убойных видов оружия исключительно из-за их чрезмерной убойности. Такие факты нельзя не учитывать при характеристике политического мышления эпохи.

На исходе Второй мировой войны нацисты, самые одиозные из монстров столетия, даже под угрозой безоговорочного поражения и личной гибели, все же не посмели массированно применить боевые химические снаряды. С появлением атомных бомб такие жесткие политики, как Г. Трумэн, И.В. Сталин и их окружение, сумели выстроить систему международных отношений достаточно гибкую, чтобы избе-

жать прямого военного столкновения сверхдержав.

Следует подчеркнуть, что этот бесспорный успех политиков и народов, пока не получивший, по-моему, заслуженной оценки, был подготовлен глубокими историческими сдвигами в общественном сознании.

В XVII–XVIII веках христианские гуманисты (Б. Лас Касас, Эразм Роттердамский), вступив в известное противоречие с официальной религиозной доктриной, проповедовали единство людей независимо от верований и греховность войны как таковой. Политиками предлагались рецепты регулирования международных конфликтов посредством систематических конгрессов (Г. Гроций), добровольного объединения европейских государств в свободную от войн конфедерацию (Генрих IV). Философы XVIII века связали перспективу установления «вечного мира» с предварительной сменой государственного и (или) общественного устройства (Ж.Ж. Руссо, И. Кант и др.). В XIX веке эти идеи, совершенствуясь в полемике с сильными оппонентами (Г.В.Ф. Гегелем, Ф. Ницше), овладевали общественным сознанием. По свидетельству М.А. Энгельгардта [1899-а], среди его современников уже преобладало мнение, что «война есть зло, но... зло неизбежное».

Квалификация войны как зла к началу XX века стала общепринятой среди европейцев, хотя общество и политические лидеры почти не ведали иных механизмов объединения кроме как через размежевание: образ общего врага обес-

печивал солидарные действия племен, государств, классов, партий на протяжении всей предыдущей истории⁶.

Но в 1919 году была образована первая в истории международная организация, принципиально не направленная против третьих сил (Лига Наций), и в ее документах отчетливо зафиксировано, что война – это не нормальная деятельность государства, не продолжение политики, а катастрофа [Рапопорт А., 1993]. Хотя Лига Наций не смогла воспрепятствовать началу новой мировой войны, мысль о необходимости ликвидировать войну как форму политического бытия становилась достоянием массового сознания. К антивоенным настроениям вынуждены были адаптироваться самые воинственные идеологии, спекулировавшие лозунгами «последнего решительного боя» ради дальнейшего вечного мира. Для этого требовалось установить всемирную диктатуру пролетариата, власть высшей расы или истинной веры.

Здесь также прослеживаются аналогии с предыдущими эпохами: мировые религии насаждались огнем и мечом под аккомпанемент проповедей о грядущем Царстве Божием. Но симптоматично изменение риторики. Реанимация квазирелигиозных мотивов в XX веке обосновывалась не столько

⁶ Даже в XX веке мемуаристами описаны характерные эпизоды, когда за предложением заключить союз следовал вопрос: «Против кого?» – и если вопрос не получал взаимоприемлемого ответа, союз не складывался. Поэтому А. Гитлер, изрекая, что коалиция, не имеющая целью войну, бессмысленна, как юродивый, озвучивал общеизвестную истину, признавать которую считалось уже неприличным.

мистической, сколько социальной прагматикой. Ссылки на Божье вознаграждение-наказание, Страшный Суд и проч. остались уделом полубезумных сектантов, а политически продуктивная демагогия строилась на доказательстве практических достоинств навязываемой идеологии. Люди станут жить мирно и счастливо, ликвидировав эксплуататорские классы. Несовершенные нации заживут спокойнее, покорившись всесокрушающей воле и разуму арийцев. Правильной, справедливой и безопасной сделает жизнь народов утверждение исламских ценностей... Более или менее изощренные мимикрии под гуманизм отличали даже такие идеологии XX века, которые по содержанию были с ним абсолютно несовместны. Что же касается коммунизма – самой влиятельной и амбивалентной из идеологий, – то мимикрия почти не требовалась: сердцевину мировоззрения составляло убеждение в величии и достоинстве человека, его могуществе и безусловной ценности труда по преобразованию несовершенного мира (социального и природного). Едва ли не большинство выдающихся интеллектуалов первой половины столетия так или иначе переболели этой красивой идеей, симпатизируя ее носителям и не замечая гримас ее практического воплощения.

Парадоксально и влияние гуманистических установок на инновационную мотивацию в сфере военных технологий. Если прежде новшества оценивали негативно и иногда отвергали из-за несоответствия боевому духу, то теперь логи-

ка обернулась: новое оружие оправдывали необходимостью минимизировать жертвы. Уже на подходе к XX веку изобретатели станкового пулемета (Х. Максим), динамита (А. Нобель), первых подводных лодок и т. д. тешили себя надеждой, что их детища обесмыслят войну.

Уверенность в том, что наращиванием убойной мощи возможно искоренить силовые конфронтации, вдохновляла творческую активность инженеров или, по крайней мере, служила психологической и социальной рационализации. До середины XX века жизнь последовательно развенчивала такие надежды, но дальнейший ход событий позволяет думать, что они были не совсем вздорными. Во всяком случае, «равновесие страха» помогло удержать противостоящие блоки от прямого столкновения, хотя холодная война оставила в наследство исторически беспрецедентную ситуацию, когда человечество может быть уничтожено действиями ограниченного числа индивидов.

Это один из бесчисленных примеров, демонстрирующих, сколь тесно переплетены в реальной жизни «добро» и «зло», как часто достижения оборачиваются потерями и наоборот. Примерами подобного рода особенно изобилует прошедшее столетие.

Еще одна группа примеров связана с заметным ростом материального благосостояния, информационных возможностей и средней продолжительности жизни людей практически во всех регионах планеты. Проще всего объяснить эти

показатели развитием технологий, в том числе медицинских. В действительности, однако, они отражают очень существенное изменение ценностей и, в первую очередь, возросшее внимание общества к человеческой жизни – жизни не отдельных высокородных отпрысков, а каждого индивида вне зависимости от пола, возраста, классовой или этнической принадлежности.

В противовес этому утверждению можно указать на неравномерное распределение благ, различие в уровнях детской смертности и продолжительности жизни, удручающие условия – антисанитария, хроническое недоедание, – в которых живут значительные группы населения. Сложные экономические расчеты [Мельянцева В.А., 1996], [Фридман Л.А., 1999] показывают, что с 1800 года до конца XX века разрыв в подушевом ВВП между наиболее развитыми и развивающимися странами возрос в 50–60 раз и продолжает увеличиваться.

Здесь, однако, следует обратить внимание на два обстоятельства.

Первое состоит в том, что авторы, демонстрирующие тяготы существования в бедных странах только с целью обосновать справедливую неудовлетворенность наличным положением дел, ограничиваются констатацией фактов в синхронном срезе; обращение к исторической диахронии (сравнение не с продвинутыми современными показателями, а с прежними эпохами) дезавуировало бы их аргументацию.

Указывая, например, сколько людей в мире живут ниже установленного по западным нормам уровня нищеты и сколь высока детская смертность в той или иной стране, полностью обходят вопрос, жили ли предки нищенствующих ныне людей богаче и удавалось ли их прабабушкам вырастить больший процент рожденных детей.

Между тем, обратившись к сведениям из истории и этнографии, мы убедимся, что благосостояние, санитарные и прочие условия жизни, ее средняя продолжительность – все эти показатели даже в отсталых регионах к концу XX века превосходили аналогичные показатели прежних эпох. Причем не только по тем же регионам, но и по процветающим ныне странам. Так, в средневековой Европе лишь около 20 % родившихся детей давали затем собственное потомство. Голод и регулярные эпидемии до конца XVIII века ограничивали среднюю продолжительность жизни 23 годами (данные по Франции) [Арьес Ф., 1992], [Шкуратов В.А., 1994]. Совокупная же оценка средней продолжительности индивидуальной жизни на протяжении всей истории человечества не превышает 20 лет [Капица С.П., 1995], [Арский Ю.М. и др., 1997]. Нынешний разрыв в материальных доходах и условиях жизни есть следствие не ухудшения обстановки в бедных странах, а того рывка, который совершили страны Европы и Северной Америки за два-три столетия, а некоторые страны Азии – всего за несколько десятков лет.

В данной связи еще более важным представляется вто-

рое обстоятельство: технологический и экономический прогресс в регионах-лидерах дает вполне ощутимые результаты и в регионах-аутсайдерах. Те же расчеты, которые отражают растущий разрыв между такими регионами, обнаруживают совсем иную картину при переходе от сугубо экономического к «человеческому» измерению, включающему детскую смертность, ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности, доступность информации и т. д. Динамика этих индикаторов отчетливо демонстрирует сокращающуюся дистанцию между полюсами [Фридман Л.А., 1999].

На протяжении XX века практически во всех регионах планеты люди стали жить в среднем значительно (до 2 раз) дольше, будучи стабильнее обеспечены питанием, имея лучший доступ к медицине, образованию и информации, чем когда-либо ранее. Труднее поддаются оценке политические показатели. Мы можем оспорить конкретные критерии, по которым эксперты газеты «Нью-Йорк Таймс» рассчитали количество людей, живущих в условиях демократии и диктатуры (соответственно 3,1 млрд. и 2,66 млрд.) и дали основание президенту У. Клинтону в инаугурационной речи 1996 года заявить, что впервые в истории человечества «демократическое» население составляет большинство (см. [Schlesinger A., 1997]). Но бесспорно то, что за сотню лет число землян увеличилось в 3,5 раза и, благодаря вовлечению многоэтнических масс в глобальный исторический процесс, небывало возросли объем и содержание понятия «человечество».

К.А. Тимирязев [1949, с.596] писал, что вся разумная деятельность человека есть «борьба с борьбой за существование». Развивая эту мысль, Б.Ф. Поршневу [1974] усматривал в противоборстве с естественным отбором сущность социальной истории. Сегодня можно добавить, что XX век стал эпохой решающей победы над этим жестоким природным регулятором. Вместе с тем он окончательно вытеснил на периферию общественной жизни архаические формы искусственного отбора.

Этнографическая литература полна сообщений о том, с какой легкостью первобытные племена отделяются от «лишних» детей, особенно женского пола, – путем прямого убийства, жертвоприношений, оставления беспомощных младенцев на покидаемых стоянках (где они становятся легкой добычей хищников) и т. д., – что служит одним из средств демографического регулирования [Леви-Брюль Л., 1930], [Леви-Стросс К., 1984], [Фрэзер Дж., 1983], [Clastres P., 1967], [Diamond J., 1999]. В посленеолитических культурах инфантицид не носил столь массового характера. Хотя такая традиция сохранялась и в дальнейшем, случаи жертвоприношения детей сопровождались уже, как правило, эмоциональными переживаниями родителей. Это отчетливо отражено во многих текстах, включая Коран, Ветхий и Новый Завет.

Еще в середине XX века из некоторых скотоводческих племен Ближнего Востока от путешественников поступали

сведения о страшном древнем обычае приносить в жертву старшего сына хозяина в честь особенно важного гостя. В конфуцианском Китае три дня после рождения младенец не считался человеком, и его умерщвление не осуждалось юридически или морально; когда же в 70-е годы XX века китайское руководство волевым указом ограничило численность семьи одним ребенком, некоторые молодые родители стали уничтожать первенцев-девочек, чтобы в последующем иметь мальчика [Шафаревич И., 1988]. Это приобрело такой размах, что обернулось статистически значимым (в миллиардном Китае!) изменением соотношения мужчин и женщин, родившихся в 70-е годы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.